

СКИТАЛЬЦЫ

(THE WANDERERS)

1798 г. Лондон

Трагедия в четырех действиях

Перевод с английского

Влад. Сирина

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Трактир "Пурпурного Пса". Колвил – хозяин – и Стречер – немолодой купец – сидят и пьют.

СТРЕТЧЕР:

Я проскочил, он выстрелил... Огонь
вдогонку мне из дула звучно плюнул
и эхо рассмешил и шляпу сдунул;
нагнулся я, – и вынес добрый конь...
Вина, вина испуг мой томный просит...
Я чувствую, – разбойник мой сейчас
свой пистолет дымящийся поносит
словами окровавленными!

КОЛВИЛ:

Спас
тебя господь! Стрелок он беспромашный,
а вот поди ж, – чуть дрогнула рука.

СТРЕТЧЕР:

Мне кажется, – злодей был пьян слегка:
когда он встал, лохматый, бледный, страшный,
мне, ездоку, дорогу преградив, –
поверишь ли, – как бражник он качался!

КОЛВИЛ:

Да, страшен он, безбожен, нерадив...
Ох, Стречер, друг, я тоже с ним встречался!
Сам посуди, случилось это так:
я возвращался с ярмарки и лесом
поехал я, – сопутствуемый бесом
невидимым. Доверчивый простак,
я песенку мурлыкал. Под узорной
листвой дубов луна лежала черной
и серебристой шашечницей. Вдруг
он выскочил из лиственного мрака
и – на меня!

СТРЕТЧЕР:

Ой, грех, – мой бедный друг!

КОЛВИЛ:

Не грех, а срам! Как битая собака,
я стал юлить (я, – видишь ли, – кошель
червонцев вез) и выюлил пощаду...
"Кабатчик, шут, – воскликнул он, – порадуй
побасенкой, – веселюю, как хмель,
бесстыдную, как тысяча и десять
нагих блудниц, да сочною, как гусь
рождественский! Потешь меня, не трусь,
ведь все равно потом тебя повесить
придется мне". Но худо я шутил...
"Слезай с коня", – мучитель мой промолвил.
Я плакать стал; сказал, что я, – Джон Колвил,
пес, раб его; над страхом распустил
атласный парус лести; побожился,
что в жизни я не видел жирных дней;
упомянул о Сильвии моей
беспомощной, – и вдруг злодей смягчился:
"Я, говорит, прощу тебя, прощу
за имя сладкозвучное, которым
ты назвал дочь: но, помни, – с договором!
Лишь верю я вот этому пращу
носатому, с комком сопли свинцовой
в ноздре стальной, – всегда чихнуть готовой
и тьму прожечь мокротой роковой...
Но так и быть: поверю и горгоне,
уродливо застывшей предо мной.
Вот договор: в час бури иль погони

пускай найду в твоём трактире "Пса
Пурпурного" приют ненарушимый,
бесплатный кров; я часто крался мимо,
хохочущие слышал голоса,
завидовал... Ну что же, ты согласен?"
Он отдал мне червонцы, и бесстрастен
был вид его. Но странно: теплоту
и жажду теплоты – я, пес трусливый,
почуял в нём, как чуешь в день тоскливый
стон журавлей, в туманах на лету
рыдающих... С тех пор раз восемь в месяц
приходит он спокойно в мой кабак,
как лошадь, пьёт, грозит меня повесить
иль Сильвию, шутя, вгоняет в мак.

Входит Сильвия.

Вот и она. Ты побеседуй, Стречер,
а у меня есть дело...

Уходит в боковую дверь

СТРЕТЧЕР:

Добрый вечер,
медлительная Сильвия; я рад,

что здесь, опять, склоняюсь неумело
перед тобой; что ты похорошела;
что темные глаза твои горят,
лучистого исполнены приветов,
прекрасные, как солнечная ночь, –
когда б господь дозволил чудо это...

СИЛЬВИЯ:

Смеетесь вы...

СТРЕТЧЕР:

Смеяться я не прочь;
но, Сильвия, смеяться я не смею
перед святыней тихой чистоты...

СИЛЬВИЯ:

Мы с мая вас не видели...

СТРЕТЧЕР:

И ты
скучала?

СИЛЬВИЯ:

Нет. Скучать я не умею:

все божьи дни – души моей друзья,
и нынешний – один из них...

СТРЕТЧЕР:

Мне мало...

Ах, Сильвия, ты все ли понимала,
когда вот здесь тебе молился я
и вел с тобой глубокую беседу
и объяснял, что на лето уеду,
чтоб ты могла обдумать в тишине
мои слова. Печально, при луне,
уехал я. С тех пор тружусь, готовлю
грядущее. В июне я торговлю
открыл в недалнем Гровсей. Я теперь
уж не бедняк... О, Сильвия, поверь,
куплю тебе и кольца, и запястья,
и гребешки... Уже в мешках моих
немало тех яичек золотых,
в которых спят – до срока – птицы счастья...

СИЛЬВИЯ:

Вы знаете, один мне человек

На днях сказал: нет счастья на свете;

им грезят только старики да дети;
нет счастья, а есть безумный бег
слепого, огневого исполина,
и есть дешевый розовый покой{1}
двух карликов из воска. Середина
отсутствует...

СТРЕТЧЕР:

Да, сказано... Какой
дурак изрек загадку эту?

СИЛЬВИЯ:

Вовсе
он не дурак!

СТРЕТЧЕР:

А! Знаю я его!
Не царствует ли это божество
в глухих лесах от Глумиглэн до Гровсей
и по дороге в Старфилд?

СИЛЬВИЯ:

Может быть...

СТРЕТЧЕР:

Так этот волк, так этот вор кровавый
тебе, тебе приятен? Боже правый!
Отец твой – трус: он должен был убить,
убить его, ты слышишь? Что ж, прекрасно –
устроился молодчик: пьет и жрет
да невзначай красотку подщипнет..
У, гадина!..

СИЛЬВИЯ:

Он – человек несчастный...

Незаметно возвращается Колвил.

СТРЕТЧЕР:

Несчастливого сегодня встретил я...
Конь шагом шел, в седле дремал я сладко;
вдруг из кустов он выполз, как змея;
прищурился, прицелился украдкой;
тогда, вздохнув, – мне было как-то лень, –
я спешился и так его шарахнул,
так кулаком его по брылам трахнул,
что крикнул он и тихо сел на пень,

кровавые выплевывая зубы...

"Несчастный" – ты сказала? Да, ему бы

давно пора украсить крепкий сук

осиновый! «Несчастный» – скажет тоже!

Он подошел, а я его по роже

как звездану...

КОЛВИЛ:

Э, полно, полно, друг!

Хоть ты у нас боец не безызвестный, –

но мнится мне, что воду правды пресной

ты подцветил вином невинной лжи.

СТРЕТЧЕР:

Ничуть... Ничуть!

КОЛВИЛ:

Твой подвиг беспримерен,

и ты – герой; но, друг мой, расскажи,

как это так, что в мыле смирный мерин,

а сам герой без шапки прискакал?

СИЛЬВИЯ:

Оставь, отец: меня он развлекал
лишь вымыслом приятным и искусным.
Он говорил...

СТРЕТЧЕР:

Я говорил одно:
я говорил, что Сильвии смешно
умильничать с бродягой этим гнусным,
я говорил, что кровью все леса
измызгал он, что я его, как пса...

КОЛВИЛ:

Довольно, друг! Задуй свой гнев трескучий,
не прекословь девическим мечтам;
ведь сто очей у юности, и там,
где видим мы безобразные тучи,
она увидит рыцарей, щиты,
струящиеся перья и кресты
лучистые на сумрачных кольчугах.
Расслышит юность в бухающих вьюгах
напевы дивья. Юность любит тьму
лесную, тьму высоких волн, туманы,
туманы и туманы, – потому,
что там, за ними, радужные страны{2}
угадывает юность... Подожди,

о, подожди, – умолкнут птицы–грезы,
о сказочном сверкающие слезы
иссякнут, верь, как теплые дожди
весенние, и выцветут виденья...

СТРЕТЧЕР:

Давно я жду, и в этом наслажденья
Не чувствую; давно я, как медведь,
вокруг дупла душистого шатаюсь,
не смея тронуть мед... Я допытаюсь,
я доберусь... Я требую ответ,
насмешливая Сильвия: пойдешь ли
ты за меня?..

Стук в наружную дверь.

Слыхали?.. Этот стук...

Он, может быть...

КОЛВИЛ:

О нет; наш вольный друг
стучит совсем иначе.

Стук повторный.

ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ:

Отпрешь ли,
телохранитель Вакха?

КОЛВИЛ:

Это он, –
хоть стук и необычен. Стречер, милый,
куда же ты?

СТРЕТЧЕР:

Я очень утомлен,
пойду я спать...

ГОЛОС:

Открой! Промокли силы...
Ох, жизнь мою слезами гасит ночь.

СТРЕТЧЕР:

Я, право, утомлен...

КОЛВИЛ:

Ступай же, дочь,
впусти его; а нашему герою
тем временем я норку покажу.
Колвил и Стречер уходят.

ГОЛОС:

Да это гроб, а не кабак!..

СИЛЬВИЯ:

(идет к двери)

Открою,
открою...

Входит Проезжий.

Ах!..

ПРОЕЗЖИЙ:

Однако, – не скажу,
красавица, чтоб ты спешить любила,
хоть ты любить, пожалуй, и спешишь...
Да что с тобой? Ты на меня глядишь

растерянно... Ведь я же не грабила...

СИЛЬВИЯ:

Простите, путник строгий...

ПРОЕЗЖИЙ:

Позови

хозяина. Прости и мне; брюзгливо

я пошутил; усталость неучтива.

Мне нравятся печальные твои

ресницы.

СИЛЬВИЯ:

Плащ снимите да садитесь

сюда, к огню.

Сильвия выходит в боковую дверь. Меж тем кучер и трактирный слуга вносят вещи Проезжего и выходят опять. Он же располагается у камина.

ПРОЕЗЖИЙ:

Ладони, насладитесь

живым теплом алеющих углей!

Подошвы, задымитесь, пропуская

блаженный жар! И ты будь веселей,
моя душа! Смотрю в огонь: какая
причудливая красочность! Смотрю –
и город мне мерещится горящий,
и вижу я сквозь траурные чащи
пунцовую, прозрачную зарю,
и голубые ангелы на глыбах
оранжевых трепещут предо мной!
А то в подвижных пламенных изгибах
как будто лик мне чудится родной:
улыбка мимолетная блистает,
струятся пряди призрачных волос, –
но паутина радужная слез
перед глазами нежно расцветает
и ширится, скрывая от меня
волшебный лик – мой вымысел минутный, –
и вновь сажу я в полумгле уютной,
обрызганной рубинами огня...

Входит Колвил.

КОЛВИЛ:

(про себя)

Дочь не шутила... Впрямь он незнаком мне...

Но голос...

ПРОЕЗЖИЙ:

Здравствуй, друг бездомных! Помни
поговорку: кто всем приют дает,
себе приют в любой звезде найдет...

КОЛВИЛ:

Мне голос ваш напомнил, ваша милость,
ночь в глушике...

ПРОЕЗЖИЙ:

...И, верно, вой зверей
голодных. Да, – душа моя затмилась
от голода... Но прежде – лошадей
и моего возницу (мы изрядно
сегодня потрепались) накорми.

КОЛВИЛ:

Слуга мой Джим займется лошадьми
и остальным... Но вам, о гость отрадней,
чем услужу? Тут, в погребе сыром,
есть пенистое пиво, рьяный ром,
степенный порт, малага-чародейка...

ПРОЕЗЖИЙ:

Я голоден!

КОЛВИЛ:

Есть жирная индейка
с каштанами, телятина, пирог,
набитый сладкой дичью...

ПРОЕЗЖИЙ:

Это вкусно.
Тащи скорей.

Хозяин и дочь его хлопочут у стола.

(Про себя.)

Узнать, спросить бы... да,
спрошу... нет, страшно...

КОЛВИЛ:

(суетится)

Хлеб—то где ж? Беда
с тобою, дочь!

ПРОЕЗЖИЙ:

(про себя)

Спрошу...

КОЛВИЛ:

Червяк капустный –

ох, Сильвия, – в салат попал опять!

ПРОЕЗЖИЙ:

(про себя)

Нет...

КОЛВИЛ:

Кружку! Да не эту! Вот разиня...

Да двигайся! Подумаешь, – богиня

ленивая... Ну вот. Ты можешь спать

теперь идти.

Сильвия уходит.

ПРОЕЗЖИЙ:

(садится за стол)

Отселе – далеко ли
до Старфильда?

КОЛВИЛ:

Миль сорок пять, не боле.

ПРОЕЗЖИЙ:

Там... в Старфильде... семья есть... Фаэрнэт, –
не знаешь ли? Быть может, вспомнишь?

КОЛВИЛ:

Нет,

не знаю я; бываю редко в этом
плющом увитом, красном городке.

В последний раз, в июне этим летом,
на ярмарке...

(Смолкает, видя, что Проезжий задумался.)

ПРОЕЗЖИЙ:

(про себя)

Там, в милом липнике,
я первую прогрезил половину

нескучной жизни. Завтра, чуть рассвет,
вернусь туда; на циферблате лет
назад, назад я стрелку передвину,
и снова заиграют надо мной
начальных дней куранты золотые..
Но если я – лишь просеки пустые
кругом найду, но если дом родной
давно уж продан, – господи, – но если
все умерли, все умерли, и в кресле
отцовском человек чужой сидит,
и заново обито это кресло,
и я пойму, что детство не воскресло,
что мне в глаза с усмешкой смерть глядит!

(Вздыхает и принимается есть.)

КОЛВИЛ:

Осмелюсь понаведаться: отколе
изволите вы ехать?

ПРОЕЗЖИЙ:

Да не все ли
тебе равно? И много ль проку в том,
что еду я, положим, из Китая, –
где в ноябре белеют, расцветая,
вишневые сады, пока в твоём

косом дворце огонь, со стужей споря,
лобзает очарованный очаг?..

КОЛВИЛ:

Вы правы, да, вы правы... Я – червяк
в чехольчике... Не видел я ни моря,
ни синих стран, сияющих за ним, –
но любопытством детским я дразним...
Тяжелый желтый фолиант на рынке
для Сильвии задумчивой моей
я раз купил; в нем странные картинки,
изображенья сказочных зверей,
гигантских птиц, волов золоторогих,
людей цветных иль черных, одноногих
иль с головой, растущей из пупа...
Отец не слеп, а дочка не глупа:
как часто с ней, склонившись напряженно,
мы с книгою садимся в уголке,
и, пальчиком ее сопровождаемый,
по лестницам и галереям строк,
дивясь, бредет морщинистый мой палец,
как волосатый сгорбленный скиталец,
вводимый бледным, маленьким пажом
в прохлады короля страны чудесной!..
Но я не чувствую, что здесь мне тесно,
когда в тиши читаю о чужом

чарующем причудливом пределе;
довольствуюсь отчизною. Тепло,
легко мне здесь, где угли эти рдели
уж столько зим, метелицам назло...

ПРОЕЗЖИЙ:

(набивая трубку)

Ты прав, ты прав... В бесхитростном покое
ты жизнь цедишь... Все счастье мирское
лишь в двух словах: "я дома"...

Троекратный стук в дверь.

КОЛВИЛ:

(идет к двери)

Вот напасть...

Осторожно входит Разбойник.

РАЗБОЙНИК:

Пурпурный пес, виляй хвостом! Я снова
пришел к тебе из царствия лесного,
где ночь темна, как дьяволова пасть!

Он и Колвил подходят к камину. Проезжий сидит и курит в другом конце комнаты и не слышит их речей.

Мне надоела сумрачная пышность
дубового чертога моего...
Ба! Тут ведь пир! Кто это существо
дымящее?

КОЛВИЛ:

Проезжий, ваша хищность.
Он возвращается из дальних стран,
из-за морей...

РАЗБОЙНИК:

...А может быть, из ада?
Не правда ли? Простужен я и пьян...
Дождь – эта смесь воды святой и яда –
всю ночь, всю ночь над лесом моросил;
я на заре зарезал двух верзил,
везущих ром, и пил за их здоровье
до первых звезд, – но мало, мало мне:
хоть и тяжел, как вымище коровье,
в твой кабачок зашел я, чтоб в вине
промыть свою раздувшуюся душу;
отрежь и пирога.

(Подходит к Проезжему.)

Кто пьет один,
пьет не до дна. Преславный господин,
уж так и быть, подсяду я, нарушу
задумчивость лазурного венка,
плывущего из вашей трубки длинной...

ПРОЕЗЖИЙ:

Тем лучше, друг. Печалью беспричинной
я был увит.

РАЗБОЙНИК:

Простите простака,
но этот луч на смуглой шуйце вашей
не камень ли волшебный?

ПРОЕЗЖИЙ:

Да, – опал.
В стране, где я под опахалом спал,
он был мне дан царевною, и краше
царевны – нет.

РАЗБОЙНИК:

Позвольте, отчего ж
смеетесь вы – так тонко и безмолвно?
Или мое невежество...

ПРОЕЗЖИЙ:

Да полно!
Смешит меня таинственная ложь
моих же чувств: душа как бы объята
поверием, что это все когда-то
уж было раз: вопрос внезапный ваш
и мой ответ; мерцанье медных чаш
на полке той; худые ваши плечи
и лоск на лбу высоком, за окном –
зеркальный мрак; мечтательные свечи
и крест теней на столике резном;
блестящие дубовые листочки
на ручках кресла выпуклых и точки
огнистые, дрожащие в глазах
знакомых мне...

РАЗБОЙНИК:

Пустое... Лучше мне бы
порассказали вы, – в каких морях

маячили, ночное меря небо?

Что видели? Где сердце и следы
упорных ног оставили, давно ли
скитаетесь?

ПРОЕЗЖИЙ:

Да что ж; по божьей воле,
семнадцать лет... Эй, друг, дай мне воды,
во мне горит твое сухое тесто.

КОЛВИЛ:

(не оглядываясь, из другого конца комнаты)
Воды? Воды? Вот чудо-то... Сейчас.

РАЗБОЙНИК:

Семнадцать лет! Успела бы невеста
за это время вырасти для вас
на родине... Но, верно, вы женаты?

ПРОЕЗЖИЙ:

Нет. Я оставил в Старфильде родном
лишь мать, отца и братьев двух...

КОЛВИЛ:

(приносит и ставит воду перед Разбойником)

Вином

вы лучше бы запили...

РАЗБОЙНИК:

Шут пузатый!

Куда ж ты прешь? Куда ж ты ставишь, пес?

Не я просил, – а дурень мне принес!

Ведь я не роза и не рыба... Что же

ты смотришь так?

КОЛВИЛ:

Но ваши голоса

так жутко, так причудливо похожи!

ПРОЕЗЖИЙ:

Похожи?..

КОЛВИЛ:

Да: как морось и роса,

Заря и зарево, слепая злоба

и слепота любви; и хрипы оба:
один – от бочек выпитых, другой –
простите мне, о гость мой дорогой, –
от тайной грусти позднего возврата...

РАЗБОЙНИК:

(обращаясь к Проезжему)

Как звать тебя?

ПРОЕЗЖИЙ:

Мне, право, странно...

РАЗБОЙНИК:

Нет,

ответь!..

ПРОЕЗЖИЙ:

Извольте: Эрик Фаэрнэт.

РАЗБОЙНИК:

Ты, Эрик, ты? Не помнишь, что ли, брата?

Роберта?

ЭРИК:

Господи, не может быть!..

РОБЕРТ:

Не может быть? Пустое восклицанье!..

ЭРИК:

О, милый брат, меня воспоминанье
застывшее заставило забыть,
что должен был твой облик измениться...
Скорей скажи мне: все ли живы?

РОБЕРТ:

Все...

ЭРИК:

Благодарю вас, дни и ночи!.. Мнится,
уж вижу я – на светлой полосе
родной зари – чернеющую крышу
родного дома; мнится мне, уж слышу
незабываемый сладчайший скрип

поспешно открываемой калитки...

Брат, милый брат, все так же ль листья лип

лепечут упоительно? Улитки

все так же ль после золотых дождей

на их стволах вытягивают рожки?

Рыжеют ли коровы средь полей?

Выходят ли на мокрые дорожки

танцующие зайчики? Скажи,

все так же ли в зеленой полумгле

скользит река? И маленькие маки

алеют ли в тумане теплой ржи?

А главное: как вам жилось, живется?

Здорова ль мать и весел ли отец?

Как брат Давид, кудрявый наш мудрец?

Все так же ль он за тучи молча рвется,

в огромные уткнувшись чертежи?

И кто ты сам? Что делаешь, скажи?

Я признаюсь: мне вид твой непонятен;

в глазах – тоска, и сколько дыр и пятен

на этих кожаных одеждах... Что ж,

рассказывай!

РОБЕРТ:

Ты хочешь? Пес пурпурный,

скажи – кто я?

КОЛВИЛ:

Вы – честный...

РОБЕРТ:

Лжешь...

КОЛВИЛ:

Вы – честный, но мятежный...

РОБЕРТ:

Лжешь...

КОЛВИЛ:

Вы – бурный,
но добрый...

РОБЕРТ:

Лжешь!

КОЛВИЛ:

Вы – князь лесной, чей герб –
кистень, а эпитафия – веревка!

РОБЕРТ:

Вот это так! Ты, брат, слышал? Что, ловко?

ЭРИК:

Не шутку ли ты шутишь?..

РОБЕРТ:

Нет. В ущерб
твоей мечте, – коль ты мечтал увидеть
все качества подлунные во мне –
разбойник я, живущий в глубине
глухих лесов... Как стал я ненавидеть
сиянье дня, как звезды разлюбил,
как в лес ушел, как в первый раз убил –
рассказывать мне скучно... Я заметил –
зло любит каяться, а добродетель –
румяниться; но мне охоты нет
за нею волочиться... Доблесть – бред,
день – белый червь, жизнь – ужас бесконечный
очнувшегося трупа в гробовом
жилище...{3}

ЭРИК:

Словно в зеркале кривом
я узнаю того, чей смех беспечный
так радовал, бывало, нашу мать...

РОБЕРТ:

Убийца я!

ЭРИК:

Молчи же...

РОБЕРТ:

...бесшабашный
убийца!

ЭРИК:

О, молчи! Мне сладко, страшно
над бездною склоняться и внимать
твоим глазам, беспомощно кричащим
на ломаном и темном языке
о царстве потонувшем, о тоске

изгнанья...

РОБЕРТ:

Брат! По черным, чутким чашам, –
живуч, как волк, и призрачен, как рок, –
крадусь, таюсь, взвинтив тугой курок:
убийца я!

ЭРИК:

Мне помнится: в далеком
краю, на берегу реки с истоком
неведомым, однажды, в золотой
и синий день, сидел я под густой
лоснящейся листвою, и кричали,
исполнены видений и печали,
лазоревые птицы, и змея
блестящая спала на теплом камне;
загрезил я – как вдруг издалека мне
послышалось пять шорохов и я
увидел вдруг между листов узорных
пять белоглазых, красногубых, черных
голов... Я встал – и вмиг был окружен...
Мушкет мой был, увы, не заряжен,
а слов моих они не понимали;
но, сняв с меня одежды, дикари

приметили вот это... посмотри...
головки две на выпуклой эмали, –
ты и Давид: тебе здесь восемь лет,
Давиду – шесть; я этот амулет –
дар матери – всегда ношу на теле;
и тут меня он спас на самом деле:
поверишь ли, – что эти дикари
метнулись прочь, как тени – от зари,
ослеплены смиренным талисманом!

РОБЕРТ:

О, говори! Во мне светлеет кровь...
Не правда ль, мир – любовь, одна любовь, –
румяных уст привет устам румяным?
Иль мыслишь ты, что жизнь – больного сон?
Что человек, должник природы темной,
отплачивать ей плачем обречен?
Что зримая вселенная – огромный,
холодный монастырь, и в нем земля –
черница среди черниц золотоглазых –
смирненно смерти ждет, чуть шевеля
губами? Нет! В живых твоих рассказах
не может быть печали; уловлю
в их кружеве улыбку... Брат! Давно я
злодействую, но и давно скорблю!
Моя душа – клубок лучей и гноя,

смесь жабы с лебедем... Моя душа –
молитва девушки и бред пирата;
звезда в лазури царственной и вша
на смятом ложе нищего разврата!
Как женщина брюхатая, хочу,
хочу я бога... Бога... слышишь, – бога!
Ответь же мне, – ты странствовал так много! –
Ответь же мне – убийце, палачу
своей души, замученной безгласно, –
встречал ли ты Его? Ты видел взор
персидских звезд; ты видел, странник страстный,
сияющие груди снежных гор,
поднявшие к младенческой Авроре
рубины острые; ты видел море, –
когда луна голодная зовет
его, дрожит, с него так жадно рвет
атласные живые покрывала
и все сорвать не может...
И ласкал
мороз тебя в краю алмазных скал,
и вьюга в исступленья распевала...
А то вставал могучий южный лес,
как сладострастие, глубоко-знойный;
ты в нем плутал, любовник беспокойный,
распутал волоса его; залез,
трепещущий, под радужные фижмы
природы девственной... Счастливым брат!

Ты видел все и все привез назад,
что видел ты! Так слушай: дай мне, выжми
весь этот мир, как сочно-яркий плод,
сюда, сюда, в мою пустую чашу:
сольются в ней огонь его и лед;
отпраздную ночную встречу нашу;
добро со злом; уродство с красотой,
как влагу сказочную выпью!..

ЭРИК:

Стой!

Твои слова безумны и огромны...

Ты мечешься, обломки мысли темной
неистово сжимая в кулаке,
и тень твоя, – вон там на потолке,
как пьяный негр, шатается. Довольно!

Я понял ночь, увидя светляка:
в душе твоей горит еще тоска, –
а было некогда и солнце... Больно
мне думать, брат, о благостном былом!
Ты помнишь ли, как наша мать, бывало,
нас перед сном так грустно целовала,
предчувствуя, что ангельским крылом
не отворотить тлетворных дуновений,
самума сокрушительных тревог...

Ты помнишь ли, как дышащие тени

блестящих лип ложились на порог
прохладной церкви и молились с нами?
Ты помнишь ли: там девушка была
с глубокими, пугливыми глазами,
лазурными, как в церкви полумгла;
две розы ей мы как-то подарили...
Пойдем же, брат! Довольно мы бродили...
Нас липы ждут... Домой, пора домой –
к очарованьям жизни белокрылой!{4}
Ты скрыл лицо? Ты вздрагиваешь? Милый,
ты плачешь, да? Ты плачешь? Боже мой!
Возможно ли! Хохочешь ты, хохочешь!..

РОБЕРТ:

Ох... уморил!..

ЭРИК:

Да что сказать ты хочешь?

РОБЕРТ:

Что я шутил, а гусь поверил... Брось,
святоша, потолкуем простодушной!
Ведь из дому ты вылетел небось
как жеребец – из сумрачной конюшни!

Да, мир широк, и много в нем кобыл,
податливых, здоровых и красивых, –
жен всех мастей, каурых, белых, сивых,
и вороных, и в яблоках, – забыл?
Небось пока покусывал им гривы,
не думал ты, мой пилигрим игривый,
о девушке под липами, о той,
которую ты назвал бы святой,
Когда б она теперь не отдавала
своей дырявой святости внаем?

ЭРИК:

Я был прельщен болотным огоньком:
твоя душа мертва... В ней два провала,
где очи ангела блистали встарь...
Ты жалок мне... Да, видно, я – звонарь
в стране, где храмов нет...

РОБЕРТ:

Зато есть славный
кабак. Холуй, вина! Пей, братец, пей!
Вот кровь моя... Под шкурою моей
она рекой хмельной и своенравной
течет, течет, – и пляшет разум мой,
и в каждой жиле песня.

ЭРИК:

Боже, боже!

Как горестно паденье это! Что же
я расскажу, когда вернусь домой?

РОБЕРТ:

Не торопись, не торопись... Возможно,
что ты – простак, а я – свидетель ложный
и никого ты дома не найдешь...
Возможно ведь?

ЭРИК:

Кошунственная ложь!

Хозяин, повели закладывать... Не в силах
я дольше ждать!

(Ходит взад и вперед)

РОБЕРТ:

Подумай о могилах,
которые увидишь ты вокруг
скосившегося дома...

ЭРИК:

Заклинаю

тебя! Признайся мне, – ты лгал?

РОБЕРТ:

Не знаю.

КОЛВИЛ:

(возвращается)

Возок ваш на дворе.

ЭРИК:

Спасибо, друг.

(К Роберту.)

Последний раз прошу тебя... а впрочем, –

ты вновь солжешь...

РОБЕРТ:

Друг друга мы морочим:

ты благостным паломником предстал,

я – грешником растаявшим! Забавно...

ЭРИК:

Прощай же, брат! Не правда ль, время славно
мы провели?

Колвил и кучер выносят вещи.

КОЛВИЛ:

(в дверях)

...а дождик перестал...

ЭРИК:

(выходит за ним)

Жемчужный щит сияет над туманом.

В комнате остается один Роберт.

ГОЛОС КУЧЕРА:

Эй, милые...

Пауза. Колвил возвращается.

КОЛВИЛ:

Да... братья... грех какой!

РОБЕРТ:

Ты что сказал?!

КОЛВИЛ:

Я – так, я – сам с собой.

РОБЕРТ:

Охота же болтать тебе с болваном!..

КОЛВИЛ:

Да с кем же мне? Одни мы с вами тут...

РОБЕРТ:

Где дочь твоя?

КОЛВИЛ:

Над ней давно цветут

сны легкие...

РОБЕРТ:

(задумчиво)

Когда бы с бурей вольной
меня в ночи сам бес не обвенчал –
женился б я на Сильвии...

КОЛВИЛ:

Довольно
и бури с вас.

РОБЕРТ:

Ты лучше бы молчал.
Я не с тобой беседую.

КОЛВИЛ:

А с кем же?
Не с тем же ли болваном, с кем и я
сейчас болтал?

РОБЕРТ:

Не горячись. Не съем же
я Сильвии, – хоть, впрочем, дочь твоя
по вкусу мне приходится...

КОЛВИЛ:

Возможно...

РОБЕРТ:

Да замолчи! Иль думаешь, ничтожный,
что женщину любить я не могу?
Как знаешь ты: быть может, берегу
в сокровищнице сердца камень нежный,
впитавший небеса? Как знаешь ты:
быть может, спят тончайшие цветы
на тихом дне под влагою мятежной?
Быть может, белой молнией немой
гроза любви далекая тревожит
мою удушливую ночь? Быть может...

КОЛВИЛ:

(перебивает)

Вот мой совет: вернитесь–ка домой,
как блудный сын, покайтесь, и отрада
спокойная взойдет в душе у вас...

А Сильвию мою смущать не надо,
не надо... слышите!

РОБЕРТ:

Я как-то раз
простил тебе, что ты меня богаче
случайно был... теперь же за совет
твой дерзостный, за этот лай собачий
убью тебя!

КОЛВИЛ:

Да что-то пистолет
огромный ваш не страшен мне сегодня!
Убийца – ты, а я, прости, не сводня,
не продаю я дочери своей...

РОБЕРТ:

Мне дела нет до этой куклы бледной,
но ты умрешь!

КОЛВИЛ:

Стреляй же, гад, скорей!

РОБЕРТ:

(целясь)

Раз... два... аминь!

Но выстрелить он не успевает: боковая дверь распахивается и входит, вся в белом, Сильвия, она блуждает во сне.

СИЛЬВИЯ:

О, бедный мой, о, бедный...

Как холодно, как холодно ему

в сыром лесу осеннюю порою!..

Тяжелый ключ с гвоздя сейчас сниму...

Ах, не стучись так трепетно! Открою,

открою, мой любимый... Ключ

держу в руке... Нет! Поздно! Превратился

он в лилию... Ты – здесь, ты возвратился?

Ах, не стучись! Ведь только лунный луч

в руке держу, и эту дверь нет мочи

им отпереть...

КОЛВИЛ:

(уводит ее)

Пойдем, пойдем... Храни

тебя господь... Не надо же... Сомкни

незрячие, страдальческие очи.

СИЛЬВИЯ:

Ключ... Лилия... Люблю... Луна...

КОЛВИЛ:

Пойдем.

Оба уходят.

РОБЕРТ:

(один)

Она прошла прозрачно–неживая
и музыкой воздушною весь дом
наполнила; прошла, – как бы срывая
незримые высокие цветы,
и бледные протягивались руки
таинственно, и полон смутной муки
был легкий шаг... Она чиста... А ты,
убогий бес, грехи, грехи угрюмо!
В твоих глазах ночная темнота...
Кто может знать, что сердце жжет мне дума
об ангеле мучительном, мечта
о Сильвии... другой... голубоокой?

Вся жизнь моя – туманы, крики, кровь,
но светится во мгле моей глубокой,
как лунный луч, как лилия, – любовь...

Конец первого действия

1923

Примечания

Вивиан Калмбруд (Vivian Calmbrood)

Скитальцы (The Wanderers). 1768. Лондон

Перевод с английского Влад. Сирина

Трагедия в четырех действиях

Впервые: Грани. 1923. Кн. 2.

Пьеса была написана в октябре – ноябре 1921 г. в Кембридже, где в 1919–1922 гг. Набоков занимался естествознанием и филологией, и отправлена родителям в Берлин под видом перевода из английской трагедии. Первыми жертвами литературной мистификации Набокова стали его родители. Написав им 24 октября 1921 г.: «Пишу я день деньской (английская драма) и наслаждаюсь своими вымыслами» (BCNA. [1] Letters to Elena Ivanovna Nabokov), он вскоре спрашивает: «Понравилось ли вам первое действие "Скитальцев"? В нем есть грубые места, они еще грубее в подлиннике (определение пистолета и рассуждение о кобылах)» (Там же. Письмо от 6 ноября 1921 г.), – и затем признается: «"Скитальцы" is meant to look like a translation, [2] так что я не жалею, мамочка, что вы были обмануты» (Там же. Письмо от 1 декабря 1921 г.).

В январе 1924 г. Набоков собирался написать продолжение «Скитальцев», что явствует из его письма В. Е. Слоним: «После "Господина Морна" я напишу второе – заключительное – действие "Скитальцев". Вдруг захотелось» (BCNA. Letters to Vera Nabokov. 8 января 1924 г.). Этот замысел, очевидно, осуществлен не был.

Рецензенты альманаха не обратили внимания на игровые приемы пьесы, и первая набоковская мистификация удалась вполне: «По отлично переведенному В. Сириным отрывку из старинной английской трагедии В. Калмбрууда <sic!> "Скитальцы" трудно, однако, судить о

значительности этой вещи», – писал Арсений Мерич [Августа Даманская] (Дни. 1923. 1 апр.); «Интересна трагедия "Скитальцы" Кэлмбруда, переведенная с английского В. Сириным, – заметил также Б. А[ратов], – но трудно составить себе полное представление о ней, ибо в альманахе помещено лишь первое действие» (Воля России. 1923. № 11. С. 91). Общий набросок мотивов «Скитальцев» содержится в стихотворении Набокова «Странствия», написанном в мае 1921 г.

Указанный Набоковым год написания трагедии отсылает к роману Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), название же, несущее первостепенные для раннего творчества Набокова эмигрантские коннотации, характерно для английского готического романа (напр., «Мельмот–Скиталец» Ч. Р. Мэтьюрина, 1820) и книг о Вечном жиде (напр., «драматическая легенда» «Агасфер–Скиталец» Т. Медуина, 1823). Подробнее о пьесе в контексте ранних произведений Набокова см. нашу статью: А. Babikov. On Germination of Nabokov's "Main Theme" in His Story «Natasha» // Cynos. "Annotating vs. Interpreting Nabokov". Actes du colloque. Nice – 21–22–23 June 2006. Vol. 24. n. 1 / Ed. by M. Couturier. Nice, 2007. P. 131–137.

А. Бабиков

Сноски

1

Vladimir Nabokov Archives // The W. Henry and A. Albert Berg Collection of English and American Literature. The New York Public Library.

2

Должны выглядеть как перевод (англ.).

3

В. Набоков. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1.

4

В.Набоков. Русский период. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 2.

5

В.Набоков. Русский период. СПб.: Симпозиум, 2000. Т. 5.

Комментарии

1

...нет счастья на свете <...> а есть безумный бег <...> и есть дешевый розовый покой... – Перефразированные строки стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», ср.: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»; «Давно, усталый раб, замыслил я побег» (А. С.Пушкин. Поли. собр. соч. В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 3. С. 258).

2

...кресты / лучистые на сумрачных кольчугах. / Расслышит юность в бухающих вьюгах / <...> туманы <...> радужные страны... – Рифмы и лексика стихотворений А. Блока «Снежная дева», 1907 (ср.: «Она дарит мне перстень вьюги / За то, что плащ мой полон звезд, / За то, что я в стальной кольчуге, / И на кольчуге – строгий крест». – А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. М; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. Т. 2. С. 268), «Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла...», 1901 (1913) (ср.: «Тебя пою, о да! Но просиял твой свет / И вдруг исчез – в далекие туманы. / Я направляю взор в таинственные страны...» – Там же. С. 109) и др., а также автореминисценция стихотворения «За туманами плыли туманы» (1921), написанного на смерть Блока: «За туманами плыли туманы, / за луной расцветала луна... / Воспевал он лазурные страны...» (Н1.[3] С. 448).

...в гробовом / жилище... – Этот мотив разовьется затем у Набокова в целую группу образов, связанных центральным образом тела–дома. Сравнение тела с домом–гробом души на семантическом уровне исходит из значений «домовье», «домовина» – гроб; связь этих двух значений обыгрывается в русских поговорках: «дома нет, а домовище будет» и (с противопоставлением родины–дома чужбине–гробу) «на чужбинке, словно в домовинке» (В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. СПб.: Диамант, 1998. С. 132; 154). «Домовище» также означает всякое временное жилье vs. собственный дом – нередко встречаемая у Набокова оппозиция. Ср. этот же мотив в стихотворении Набокова «Комната» (1926): «И может быть, – когда похолодеем /и в голый рай из жизни перейдем, – / забывчивость земную пожалею, / не зная, чем обставить новый дом» (Н2. [4] С. 540), а также в действ. V «Человека из СССР». В романах Набокова «Приглашение на казнь», «Дар», «Другие берега» развивается представление о неподвижном времени – «жилище» человека (заключенного в камере), смерть же уподобляется выходу из дома (подробнее об этом см.: А. Бабинов. Образ дома–времени в произведениях В. В. Набокова // Культура русской диаспоры: Набоков – 100. Таллинн, 2000. С. 91–99).

Довольно мы бродили... / <...> Домой, пора домой – / к очарованиям жизни белокрылой! – Ср. этот мотив в стихотворении Набокова «К кн. С. М. Качурину» (1947): «Мне хочется домой. Довольно / <...> к чарующему "чапаралю"...» (Н5. [5] С. 430–431).